

СЕРГЕЙ
ШАРГУНОВ

Зачем я здесь

Юрий Казаков: недописанная жизнь

18+

РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ

Великие шестидесятники

Сергей Шаргунов

Зачем я здесь. Юрий Казаков: недописанная жизнь

«Издательство АСТ»
2026

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Шаргунов С. А.

Зачем я здесь. Юрий Казаков: недописанная жизнь / С. А. Шаргунов — «Издательство АСТ», 2026 — (Великие шестидесятники)

ISBN 978-5-17-193148-3

Юрий Павлович Казаков (1927-1982) лучший рассказчик в России второй половины XX века. Он писал прозрачную, музыкальную, страстную, полную драматизма прозу, оказался у истоков городской и деревенской литературы, был звездой шестидесятников, новым европейцем, в чьей литературе — свобода личности и джазовые ритмы, и почвенником, певцом простонародья. Сергей Шаргунов (р. 1980) — автор романов “Попович”, “1993”, “Книга без фотографий” и биографии Валентина Катаева (премия “Большая книга”), главный редактор журнала “Юность”. “Вся эта книга — открытие. На каждой странице. Открытие — Казакова” (Сергей Шаргунов). В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-193148-3

© Шаргунов С. А., 2026
© Издательство АСТ, 2026

Содержание

Человек без биографии 6
Бег по полю 8
Там ли родился? 9
Роковое пиво 13
“Воздух был красным” 15
Жильные струны 17
Чудо осечки 21
Конец ознакомительного фрагмента. 24

Сергей Александрович Шаргунов
Юрий Казаков
Недописанная жизнь

Моему сыну – Ивану Шаргунову

© Шаргунов С.А.
© Бондаренко А.Л., художественное оформление.
© ООО “Издательство АСТ”.

Человек без биографии

Однажды, совсем юным, я услышал, что у писателя Юрия Казакова где-то в лесу в деревянном доме оставались рассказы, и другие бумаги, и плёнки с какими-то беседами, но всё это сгинуло – залито водой, сгорело, украдено…

Помню, огорчился и в ту же минуту вообразил: пропавшее можно отыскать. Вот было бы открытие! Я представил, как пробираюсь зарослями к заколоченному дому или выхожу на след кем-то унесённого.

Вообще-то так и случилось.

Надеюсь, вся эта книга – открытие.

На каждой странице.

Открытие – Казакова.

Нашлось столько неизвестного! Потерянная проза, исповедальные дневники и пронзительные письма, забытая на полвека кинохроника, редчайшие аудиозаписи, сохранившие голос Юрия Павловича…

За годы работы над этой книгой мне повезло исследовать горы рукописей, получить архивы из стольких рук, встретиться со столькими, кто его знал и кто поделился уникальными воспоминаниями. И пространствовать – по казаковскому следу. От калужской деревни Марфино до архангельской Лопшеньги…

При слове “Казаков” иной читатель, даже просвещённый, особенно из молодых, наморщит лоб, вспоминая, кто это.

Но много ли о нём знают и те, кто его ценит? Почти ничего…

До того как приняться за книгу, я тоже имел скудные представления о Казакове. Мне казалось, с ним ничего такого не происходило – человек без биографии. Жизнь без особых потрясений. Не сидел, не воевал, не протестовал. Много пил, писал прозрачные рассказы, надолго замолчал и умер. Распался в тени.

Конечно, думая о нём, готовишься к погружению в студёные глубины, в сумрак уединённости, когда за отсутствием спецэффектов скрывается тайна, которая чувствуется в каждой строке. Он и сам говорил, что сокровенный сюжет гораздо важнее закрученной фабульности и что можно “прожить жизнь, бедную внешними событиями”, но “возвыситься до выражения эпохи”.

Про эпоху, между прочим, – отдельная мысль. Парадокс постороннего. Человек не закрашен никаким цветом, и через него особенно различимо время в лицах и приметах. Это точно подходит Казакову, потому что, вбирая и порождая столь многое, он умудрялся сохранять обособленность.

При этом оказалось, что тихий образ никак не исчерпывает его биографию. Казаков снова и снова, порой помимо своей воли, становился знаковым героем ключевых событий. Исторического и социального, лихого и остросюжетного хватало с избытком.

В конце концов, убедился я, кто, как не он, позволяет разносторонне разглядывать эпоху.

Дитя Арбата с избяной душой, он был у истоков городской и деревенской прозы. Звезда поколения шестидесятников, новый европеец, в чьей литературе – свобода личности и джазовые ритмы. И он же – почвенник, молившийся на старую Россию, защитник поруганных святынь, певец простонародья.

С дебютного рассказа – классик. И самозванец, которого изничтожали рецензиями и запретами. Изрешечённый сотнями очередей “автоматчиков партии”. Литературный крестник поэта-сталиниста Журавлёва и лидера оттепельных либералов прозаика Паустовского. Но и обидно отвергнутый в двух главных журналах оттепели – в “Новом мире” Твардовским и в “Юности” Катаевым.

Утащивший Евтушенко от кремлёвской опалы в тайгу. Близкий Трифонову и Белову, Аксёнову и Астафьеву, Окуджаве и Солоухину, Галичу и Распутину, Вознесенскому и Абрамову – и никому из них. Хлопнувший дверью в журнале “Молодая гвардия”, верный автор журнала “Наш современник”. Заступник диссидентов, обложивший их отборной бранью. Понукавший Домбровского написать главные книги. Сосед и собутыльник Венедикта Ерофеева. Тот, кого так хотел видеть рядом с собой Солженицын.

Мечтавший о Париже и посетивший его, но прежде всего для встречи с родиной – стариками-изгнанниками бунинского круга.

Может быть, всё дело в том, что Казаков – русский через край. В его судьбе с какой-то поразительной зримостью явлена гениальность и гибельность русского человека.

А может быть, размышляя о нём, надо винить и благодарить его стихийный дар, непостижимую “музыку сфер”, вольно протекавшую сквозь него.

Казаков – лучший рассказчик в России второй половины двадцатого века.

Но и здесь одни противоречия! Большой писатель малых форм. Традиционный и вызывающий, в чьих сочинениях – ангельский язык и инфернальный излом, напряжённый драматизм и тонкий подтекст, резкость деталей и приглушённость красок.

Человек одновременно книжный и варварский, одержимый литературой и внелитературный, как бы случайный…

Во всём он разный! Сумрачный и солнечный. Сердитый и сердечный. Жестокий и жертвенный.

Он был очарован Севером, и изводился им. Был крайне скуп, но и безоглядно щедр в поддержке всяких, даже незнакомых, даже разнополюсных талантов. Жарко любил, но с болезненным наслаждением губил любовь. Желал создать семью, но, создав, отринул. Долго искал дом, но, обретя, проклял. Боготворил жизнь и тяготел к смерти.

Он прогремел на весь мир, хорошо зарабатывал, собирался отхватить Нобелевскую премию и бедствовал в прижизненном полузабвении.

Одержимый успехом и поражением. Восхвалявший себя и уничижавший. Сделавший себя и себя разрушивший.

Глуховатый музыкант. Поющий заика.

Чего в нём больше? Что остаётся? Что настоящее?

Одиночество.

Человек раннего ухода, навсегда в литературе и навсегда “недо”, и это особенно больно.

Недописавший, недоживший…

А всё же сбывшийся.

Бег по полю

Огромное поле, на котором две группы людей: плачущие женщины с детьми и мужчины, выстроенные в ряд под охраной других мужчин с собаками. На насыпи – буро-красные вагоны-теплушки.

Мать близоруко щурится и спрашивает сына: видит ли он папу. Мальчик видит, отец тоже находит их глазами, улыбается, машет рукой, но непонятно, почему им нельзя друг к другу.

Вдруг по толпе проносится гул: “Детям можно! Детям можно!”, и вот уже несколько мальчиков и девочек бегут по полю. Мать говорит, волнуясь:

– Беги, сыночек, к папе скорей, скажи, что мы его ждём!

Он срывается и мчит со всех ног…

Маленький мальчик бежит по огромному полю.

Он бежит к отцу.

Он соскучился, они давно не виделись, он ждёт, что отец обнимет, возьмёт на руки, прижмёт. Отец всё ближе, кажется, чувствуется родной запах, но лицо его становится растерянным и несчастным, начинается какое-то волнение, бешено лают собаки, грубо кричат мужчины в гимнастёрках, а другие мужчины, среди которых отец, садятся на корточки, руки за голову.

Перед мальчиком с громовым лаем распахивает пасть гигантская овчарка. Совсем близко её мокрые клыки, длинный язык. Сейчас она вцепится ему в лицо… Собаку оттягивает человек в форме, другой рукой хватает мальчика за шею и бьёт сапогом. Это ужасно больно – удар в копчик, – мальчик летит кубарем, вскакивает и бежит обратно, через всё цветущее поле, к маме, неразличимой в слёзном тумане, и почему-то улыбается.

Откуда-то он знает, что надо улыбаться. Он улыбается дерзко, блаженно, ободряюще. Эта улыбка для мамы, и для всех, и для себя самого.

Он бежит от отца, улыбаясь сквозь слёзы.

Когда Юра добегает до мамы, он уже заика.

Пройдут годы, и он признается: “Я стал писателем, потому что был заикой”.

Там ли родился?

“Дети Арбата” – можно сказать, мем.

Знаменитый роман жившего здесь до самого ареста Анатолия Рыбакова, в центре которого судьбы жертв репрессий, преимущественно интеллигенции. Другой местный обитатель Булат Окуджава воспел “арбатство, растворённое в крови”.

Арбат не просто улица, но символ и миф в известной радикальной попытке воспринимать литературу разделённой этически, эстетически и даже этнически.

Для одних, настроенных “прогрессивно”, это как бы духовная родина, место света и тепла; для других, “почвенников”, – чуждое пространство, вызывающее раздражённую насмешливость.

Среди вторых поэт Станислав Куняев, создатель коллективного образа арбатских жителей, по его мнению, космополитической элиты раннего большевизма:

Радуюсь, что не возрос на Арбате,
Что обошло мою душу проклятье,
Радуюсь, что моя Родина – Русь —
Вся: от Калуги и аж до Камчатки,
Что не арбатских страстей отпечатки
В сердце, а великорусская грусть!..

Положение Казакова в этой распре особое – он ломал шаблон.

Казаков любим “русской партией” и лично Куняевым, к которому хорошо относился. Но житель дома 30 мог повторить и за близким ему Окуджавой, жившим в детские годы в доме 43, наискосок:

Я – дворянин с арбатского двора,
своим двором введённый во дворянство.

Казаков говорил об арбатской общности и избранности (“даже население иное” по сравнению с остальной Москвой), об особом явлении двора и о том, как круто быть самым центровым: “Мы считали, что мы лучшие ребята в мире! Родились не только в Москве, в столице нашей Родины, но и в «столице Москвы» – на Арбате. Мы друг друга называли земляками”.

В стихотворении 1953 года о месте возрастания и соседях Казаков как бы заранее принимал вызов, повторяя из “Руслана и Людмилы”:

Здесь русский дух,
Здесь Русью пахнет!

На Арбате жили Пушкин, Бунин, Алексей Лосев…

А вот ещё один голос, словно бы тоже в продолжение арбатской полемики, с рефреном: “Ты, русский, гражданин Арбата”. Для писателя Бориса Зайцева это навсегда была “Улица св. Николая” – из-за трёх Никольских храмов, заливавших всё своим звоном, – так и называлось его эссе 1921 года (храмы взорвут в начале тридцатых).

В поэтичных причитаниях Зайцева есть что-то и от куняевского пафоса воздаяния Арбату, но через казни и выселения другой элиты, не советской, а дореволюционной: “Ты и шумел, и веселился, богател и беззаботничал – ты поплатился”; есть и странное ощущение вечной обречённости этой улицы на сочетание пёстрой легкомысленной суеты и причастности

величию культуры; есть и то, что напрямую относится к семье Казакова, – заполнение “покоев важных”, когда происходила смена хозяев и “вся мастеровщина, туго жизнью пригнетённая, из щелей повыползала, из тёмных нор своих, и вверх задвигалась. «Попировали, и довольно! Нынче наш черёд!»”

С дворянином Зайцевым, глубоким стариком, встретится в Париже сорокалетний Казаков, сын мастерового, человек, родившийся из той, изгнавшей его собеседника, бури. Запишет разговор на плёнку и получит от него книгу[1], в которой прочтёт очерк об их улице.

Исходная геолокация жизни видится и случайной, и промыслительной.

Даже рождение ребёнка в этом месте – словно бы вызов предкам, обрыв деревенской дороги.

Родители Казакова вышли из крестьян.

Конечно, самим своим появлением на свет он уже стал зеркальцем русской революции, случившейся десятью годами ранее.

То, что в значительной степени вызвало и продолжило революцию, – превращение деревенского народа в городской.

Павел Гаврилович Казаков родился в 1901 году в деревне Пензево Дорогобужского уезда, Устинья Андреевна (Иустина Андриановна) Команенкова[2] – в деревне Букатино на берегу реки Яблоньки в 1898 году (но на два года уменьшила в документах свой возраст). Земляки по Смоленщине; Москва позвала их, ещё юных, на заработки. Поначалу Устинья жила у своей сестры Марфы, вышедшей замуж за купца. Сестра Павла Таисия была в услужении у немца-врача, имевшего частную клинику, а потом стала его женой.

О трудах, знакомстве и отношениях родителей Казаков написал рассказ, к несчастью, не сохранившийся.

Революция изменила правила собственности и принесла повсеместную “уплотниловку” – так семейная пара Казаковых получила комнату в доходном, кофейно-кремово-праздничном доме, разбитом на коммуналки. Квартира 29 находилась на пятом, последнем этаже. Окно кухни выходило на Спасопесковский храм, окно комнаты – в сторону Вахтанговского театра. Ютились в пятнадцатиметровой комнате, разгороженной старой мебелью.

Дом, где они жили, особый. Сегодня зазывная реклама именует его “украшением Арбата”, справедливо смакуя плавные линии фасада, узорчатые балконы и разнообразие эркеров.

В XIX веке на том же месте находился особняк с тем же адресом и множеством знаменитых жильцов, среди которых поэт Алексей Плещеев, при Николае Первом прошедший арест и ссылку, чьи стихи наверняка знал маленький Юра:

Травка зеленеет,
Солнышко блестит;
Ласточка с весною
В сени к нам летит.

Нынешний дом построен в 1904-м – восемь подъездов с квартирами. Здесь жили художник-реалист Сергей Иванов, путешественник и военный географ Пётр Козлов, тут же располагался ежегодник “Вся Москва” легендарного Алексея Суворина, переживший своего издателя, но переставший выходить в то время, когда списки жильцов, в том числе этого дома, уж слишком резко стали меняться.

[1] Тихие зори. Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1961.

[2] В других записях эта фамилия: Каманенкова и Каманина.

В колодце казаковского двора – отгороженность от мира, чувство старины. Зайдя сюда, понимаешь, почему его так вдохновляли петербургские строения.

И конечно, этот дом всегда притягивал детвору, толпившуюся у витрин зоомагазина с рыбками и птичками. Открытый ещё при Российской империи, он сохранялся сквозь все эпохи.

На Арбате, в магазине,
За окном устроен сад.
Там летает голубь синий,
Снегири в саду свистят, —

писала в 1938-м Агния Барто про мальчика, которому удаётся убедить маму купить птицу с ярко-розовой грудкой. Тогда одиннадцатилетнему Юре было не до снегирей…

“Как жалею я иногда, что родился в Москве, а не в деревне”.

Это тоже его признание.

Там ли родился? Вечное сомнение, сменявшее городскую горделивость.

Его тянуло на Смоленскую землю, на Русском Севере он и вовсе открыл вторую родину, всё время куда-то ехал, забираясь подальше, поглубже, селился в старых избах, наконец обрёл собственный дом в лесу.

“Он был ясный”, – так отвечала Устинья Андреевна всем, кто спрашивал её о Юре в детстве.

Он помнил себя совсем маленьким, вернее, помнил ощущение защищённости и её пение: “У меня это осталось – голос матери, дремота от колыбельной, счастье тепла, засыпания, здоровья. Странно!”

На ранней семейной фотографии светлый малыш с полуулыбкой сидит на коленях отца, чей взгляд кажется отстранённо-туманным, а женщина, упёршаяся рукой в мужнино плечо, смотрит властно. Она и впрямь была волевой – глава семьи на все времена.

Благодаря матери он с детства жил среди народных обычаев, слов, лечений. Её речь цвела удивительными оборотами – своим протяжным голосом она рассказывала сказки. Вместе пели старинные песни. Читала она, правда, по складам.

В дом наведывалась деревенская родня, приезжала бабушка, чьи руки и чемодан источали особенный милый запах. С утра выпивала чашек пять чаю из привезённой с собой тёмной большой чашки и садилась гадать.

Юношей на Смоленщине он вдохнёт кладбищенские запахи разнотравья, и его затрясёт: “Комок стал у меня в горле, и теперь те поля и перелески, те облака и небо, те широкие пыльные дороги – моя родина”.

Было ли это связью с одним лишь крестьянством?

Возлюбленная Казакова Марина Литвинова вспоминала его маленькие ступни при большом росте, небольшие для мужчины руки, черты лица и форму головы и вообще необычность облика – аристократическая порода. Она ссылалась на рассказы Устиньи Андреевны о прабабке, крепостной красотке, подвизавшейся в доме князя Мещерского, от которого та и понесла.

И казаковской подруге Тамаре Жирмунской Устинья Андреевна говорила, толкая в бок и показывая на сына:

– Смотрите, какой профиль, Мещерский же!

Князь-поэт Николай Мещерский – внук историка Карамзина и брат консервативного литератора Владимира Мещерского. Кстати, оба брата были начисто лысы. Имение Николая Мещерского Дугино располагалось в Сычёвском уезде Смоленской губернии, том самом, где родилась мать Казакова. Вообще, если вглядеться в портретную галерею Мещерских, недавно

вновь обретённую, пожалуй, можно обнаружить сходство с Юрием Павловичем: лбы, уши, глаза.

Когда в начале семидесятых казахский прозаик Нурпеисов обиделся, что Казаков зовёт его “баем” и “мурзой”, тот успокоил: “Зови меня князем…”

А на одной из фотографий[3] сын сантехника так себя и подписал: “Князь Мещерский”.

– Я – Рюрикович! – твёрдо заявил он в конце семидесятых в охотничьей избушке[4].

Звучит несколько комично, в духе небезызвестного “Очень приятно, царь”, но в этом весь Казаков – быть о себе высочайшего мнения на грани потешного абсурда, переходящего в трагизм.

Вот и литературовед Владимир Турбин, казаковский ровесник, предполагал, что “в предыдущем воплощении” он наверняка был северным боярином с богатой озёрно-лесной вотчиной. А писатель Гарий Немченко и вовсе махнул в античность: “У него было лицо римского императора”.

История семьи и рода всегда занимала Казакова.

Литературовед Игорь Кузьмичёв, общавшийся с ним, говорит об образах предков, проглядывающих в его прозе: один – донской казак, после войны 1812 года получил землю в Смоленской губернии, другой – слепой странник и молитвенник…

Об этом ослепшем прадеде не раз слышали от Казакова многие – тот с мальчиком-поводырём ходил в Иерусалим, ко Гробу Господню, и, вернувшись спустя семь лет блужданий, ещё долго жил в деревне и умер древним старцем. Судя по метрикам, звали его Дементием, происходил он из деревни Наливки.

По воспоминанию жены Казакова Тамары Судник, от слепого предка остался маленький кипарисовый складень – иконы на небольших створках, – и, взяв его в руки, Юрий Павлович всякий раз говорил о мечте тоже добраться до Святой земли.

Как не вспомнить вдохновлявшую его слепоту героев (музыкант в одном из ранних, утраченных рассказов “Подвиг”, старуха из “Северного дневника”, незрячий гончий пёс, пианист в “Проклятом Севере”) и страсть к дороге, готовность идти до изнеможения с утра до ночи по диким безлюдным пространствам…

Казаков хотя и любил княжескую легенду, всё же в автобиографии представлял себя первым книжным и просто образованным человеком в роду.

Едва его отец попал в Москву, жизнь сразу примагнитила к печатному слову – стал работником в типографии. Потом Павел Гаврилович был плотником, сантехником, быстро, как выражался сын, пролетаризировался. Мама успела послужить нянькой в господских домах, после революции оказалась на каком-то военном заводе, где отравилась газом.

[3] В 1959 году в Малеевке рядом с “русским Хемингуэем” Глебом Горышиным.

[4] Литератору Николаю Старченко.

Роковое пиво

Казаков не любил обращаться к детству: бедность, почти нищета.

“В детстве я болел постоянно”. Он припоминал рюмку холодного пива, после которой из одной болезни его перенесло в другую. Сквозь жар и бред над ним приплясывали скелеты и дули ледяным дыханием. Мальчик перестал дышать, мать разбудила отца, закричала, чтобы бежал за врачом. Символично, что реанимировал ребёнка тоже алкоголь – влитый через сжатые зубки кагор.

Первые воспоминания были окрашены страхом. Например, грузовик казался чудовищем, которое хочет схватить и забрать у мамы.

Она рассказывала ему сказку о загадочных кабиасах. Собака лаяла ночами, слыша, как эти злые существа поют: “Войдём в избушку, съедим старушку”, – и их отгоняя. А старик и старуха никого не видели, сердились, что пёс их будит, сначала отрубили ему лапу, потом хвост, на третий раз – голову, а тут и кабиасы подоспели: ворвались в избушку и съели старика и старушку.

Он гулял с мамой в треугольном сквере на Собачьей площадке и рассматривал колонну с львиными головами, которые принимал за собачьи[5].

Устинья, или Туся, как называл её муж, иногда брала сына на Трёхгорный пивной завод, где работала в амбулатории. Маленький Юра бегал, лазил и играл в мрачном здании, похожем на каземат, с цехами и подвалами: пахло йодом, пивом, асфальтом, и спустя десятилетия ему снилось это зловещее место. Павел Гаврилович, монтёр в 5-й конторе Мосремонта, был мастером на все руки. Юре запомнилось из детства, как открыто и наивно, “по-смоленски” улыбался отец.

Мальчику было пять, когда отца увели.

Любитель залить за ворот, как-то после работы он задержался в пивной, где в компании работяг заговорил о голоде в деревне, изъятии продовольствия у крестьян и Тамбовском восстании. Роковое пиво… Или не только пиво.

Кто-то донёс. 9 января 1933 года тридцатиоднолетний мужчина был арестован, а 15 января осуждён.

Казаков Павел Гаврилович, русский, из кустарей, родители – безземельные крестьяне, образование низшее, монтёр по отоплению, осуждён тройкой полномочного представительства ОГПУ по Московской области за “антисоветскую агитацию” и приговорён к трём годам высылки.

Мотало по Северу, по лесоповалам и лесным комбинатам… Одним из первых мест его трудов стал Каргополь. Во время деревообработки повредил палец.

Нежелательный элемент для Арбата, в то время не просто проезжей, а режимной улицы, правительственной трассы. Здесь постоянно курсировал Сталин с Ближней кунцевской дачи в Кремль и обратно.

Юра с мистическим трепетом наблюдал движение лимузина сквозь ночь. Перед сном он воображал покушение на вождя, как тот выпадает из машины и стонет, однако и то, как его спасает, мысленно тащил к себе в комнату… Позже в неё набивалось всё благодарное Политбюро. Проси что хочешь…

Пока Юра подрастал, из его дома забирали людей. Расстреляны были семь жителей: врач-учёный, инженер, адвокат, два сотрудника наркоматов, директор Мособлпечатьсоюза, школьный учитель.

---

[5] Собачья площадка уничтожена в шестидесятые годы при реконструкции Арбата.

Семью опутала печаль, но мать не сдавалась. Хваткая и решительная, она делала всё, чтобы поставить сына на ноги и вывести в люди. Её опека простиралась на судьбу Казакова до самого конца. Она жила с ним под одной крышей (и пережила его), вела хозяйство, переезжала за ним в разные места, круто разбиралась с его женщинами. Казаков, со всей своей мужицкой уверенной силой, всегда оставался “при маме”.

В 1937-м и 1938-м он жил и учился в школе в Загорске, куда его вывезла мать – в те же места, где им спустя десятилетия суждено будет заканчивать жизнь. Там на строительстве оптико-механического завода находился Павел Гаврилович, которого потом перекинут опять подальше от дома.

Казаков вспоминал, что завод строили “пердячим паром”, грунт из котлованов вывозили на лошадях, кирпичи таскали на спинах. Он выпрашивал у матери деньжонки и покупал дешёвые тонкие папироски “Красная звезда”. С мальчишками вертелся на конском дворе, и в обмен на табак возчики доверяли им лошадей – купать или забирать в ночное. Позднее он понял, что этим только делал жизнь мужиков легче.

Об учёбе в Загорске – его юношеские тетрадные записи. Мальчик попадает в чужую школу, где ему кричат: “Новенький! Конопатый!”

Ребята плюют вниз с лестницы, пытаясь попасть в бумажный комок.

– Слюней нет, – жалуется один из них хриплым голосом.

– А ты о кислом думай, о лимоне, – советует будущий писатель. – Как будто лимон ешь.

За окном он видит мать. Она жалобно смотрит вверх, но он знает, что она не может ничего увидеть, потому что близорука. Ему становится досадно и неприятно, и он направляется к печке. Там малыши играют в “пристенок”: бросают монетки о стену. Когда монетка отлетает ему в ногу, паренёк с раскосыми глазами командует: “Отойди, зараза!” – и новенький отходит, покраснев.

“Воздух был красным”

Ему было тринадцать, когда началась война.

Как и многие подростки тех лет, ночью он дежурил на крыше, чтобы сбрасывать “зажигалки”.

В июле 1941-го стал свидетелем потрясшей его картины. Фугасная бомба попала в Театр Вахтангова, расположенный рядом.

Страшный сокрушительный удар. Погибли люди, среди них – два дежуривших на крыше артиста.

Сын писателя Алексей рассказал мне, что отец не раз вспоминал, как на его глазах авиабомба падает на красивое здание и, словно в замедленной съёмке, пробивает одно перекрытие за другим, а потом, разорвавшись, оставляет руины.

Об этом же – в повести, которую он писал всю жизнь.

Всё накрыла взрывная волна. Его отшвырнуло, чуть не сбросило с крыши, ударило о трубу и этим спасло. Он потерял сознание.

Очнувшись, он шёл по озарённому пожаром Арбату среди осколков, обломков и кровавых тел. Убитые, раненые, крики, стоны… “Воздух был красным”. “Вспоминаю эту ночь, всю как бы в красном свете”, – вторила Казакову Людмила Целиковская, народная артистка, тогдашняя студентка, уже игравшая в Вахтанговском и спасшаяся в его подвале.

С тех пор Казаков боялся высоты (и взрослым продолжал бояться, радуясь, что страх не передался сыну). А сны про бомбёжку мучили по ночам.

К нему кинулась всклокоченная мать с мокрыми от слёз очками:

– Сы… Сыно-чек! Га! Жив? Жив? А мне сказали… Га!

Это же вспоминала Устинья Андреевна, которая бегала по Арбату в поисках Юры и обнаружила его, оглушённого, ошалелого, от ужаса наклавшего в штаны.

В той повести появлялась их ослепительная соседка Наталья Андросова, праправнучка Николая Первого, последняя из семьи Романовых в СССР. Она жила в подвале соседнего дома 32 и была на десять лет старше. Князь и княгиня… Она тоже дежурила на крыше и тушила “зажигалки”. Герой-подросток направил пристальный взгляд туда, где под узкой военной юбкой “нежно светились ноги в шёлковых чулках”, и почувствовал “горячий толчок” и одновременно “царапину первой детской ревности” к тому, кто с ней. Казакову зачем-то понадобилось убить её немецким налётом: “откинутая и вывернутая нога”, “всё было задрано до живота”… Андросова прочитала это уже после смерти соседа, которого помнила и даже принимала дома, и не обиделась, пожелав ему Царствия Небесного. Она хорошо знала творческих людей.

Прирождённая спортсменка, в детстве она скакала на лошадях, в тридцатых участвовала в физкультпараде на Красной площади. Изображая античную статую дискобола, императорская потомица проплыла на платформе перед Мавзолеем и взирающим с него вождём. Юрий Нагибин называл её “королевой Арбата”. В высоких крагах она носилась по Арбату и Садовому кольцу на красном мотоцикле “индиан-скаут”, и ей козыряли милиционеры. Полёт продолжался в аттракционе “Гонки по вертикали” в парке Горького по стенам специального деревянного сооружения, напоминавшего бочку. Казаков в толпе зрителей с трибуны, расположенной сверху, наблюдал это страшное чудо, эти смертельные трюки, опасные зигзаги, когда она, “выписывая эллипс своей судьбы”, поднималась всё выше, набирая всё большую скорость, – бледная, с развевающимися рыжими локонами. Она осталась в городе, к которому подступали немцы, несмотря на возможность эвакуации, работала водителем “полуторки”. Потом вернулась в мотогонки, где падала, разбивалась (однажды ей и впрямь изувечило ногу, из колена

торчали кости), но не сдавалась и покоряла вертикаль до 1967-го. Вознесенскому она призналась, что, летая по стене, читает про себя стихи.

В свою последнюю весну, в 1982-м, Юрий Павлович приведёт сына-подростка в парк Горького – показать то, что завораживало когда-то: мотогонки по стенам.

Осень первого года войны: осаждённая опустевшая Москва, патрули, паника, пепел от сожжённых бумаг, немецкие листовки, “как снег, с неба, и в листовках – обещания сладкой жизни”.

Юра провёл в Москве всю войну и подрастал на её фоне. Он говорил, что время было гнетущее ещё из-за того, что всё происходило на территории огромного города, погрузившегося во тьму, миллионы людей опрокинуло в ненормальную жизнь, и дети сравнялись в страдании со взрослыми.

“Вся жизнь моя прошла при карточках”, – казалось ему, едва он оборачивался на детство, в котором почти не было игрушек, но особенно тяжко пришлось в войну, соединившую голод и холод. С мамой соглашались на любую работу: вместе возили дрова для топки бани, разгружали баржи, чистили кирками лёд на Крымском мосту, на загородных полях палками выковыривали морковь, сгребали в мешки капустные листья, оставшиеся после уборки урожая, дома квасили их в ванне, и Устинья Андреевна варила щи.

Однажды, когда очень хотелось есть, они с приятелем украли простыни, висевшие во дворе, и продали на рынке. Казаков стыдился этой истории.

Все эти годы он работал грузчиком – дров, угля, рулонов бумаги, кирпича; устроился слесарем, по примеру отца; преодолевая страх, лез на крыши и чистил снег.

Но тогда же в кино он смотрел голливудский любовный мюзикл “Серенада Солнечной долины”, благодаря союзническим отношениям с Америкой попавший на экран. Фильм манил невероятной жизнью и завораживал джазом. По сюжету, на горнолыжный курорт приезжает биг-бенд – оркестр Гленна Миллера. Герои лихо рассекают на лыжах, выступают в шоу на льду, поют и танцуют.

От всего этого не отрывал глаз худой подросток: “Я смотрел на экран, как на тот свет, мне не верилось, что люди могут так жить где-нибудь. Потому что каждый раз после кино я шёл в свою тёмную грязную конуру…” Зимой комната была промёрзшей.

Часто, покачиваясь от усталости, он брёл на Арбат, 2, в здание ресторана “Прага” – там тогда была библиотека имени Некрасова. Потом, обращаясь к тем дням, он не мог понять: зачем ему понадобились книги, причём не какие-нибудь, а особенные.

Юра набирал всё, что было про охоту, и сидел в читальном зале до закрытия. Это было будто свидание с отцом, который, он знал, находился в северном лесу, полном зверья и птиц.

Мальчик узнавал, как ставить капканы и силки, где залегают медведи, когда сбрасывают рога лоси, и, точно диковинные заклинания, запоминал названия ружей всех марок: Ланкастер, Вестлей, Скотт, Зауэр, Лепаж…

На Неглинной, 11, был старинный охотничий магазин, уцелевший после революции.

Здесь, посреди города, где не так много оставалось мужчин, Юра приобщался к зверовато-му царству: попадались “сытые бандитские хари”, от которых пахло водкой и салом, предлагавшие купить затрофеенный вальтер или парабеллум. Место привлекало убогих: калеки и такие же, как и он, “гугнивые, заики, помешанные на охоте”, вероятно, через эту болезненную близость к оружию справлялись с немощью, поднимались над собой. Были и мальчишки, мечтавшие о фронте. Юра с пробуждающимся казаковским писательским чутьём видел, слушал, обонял…

Ещё ни разу не узнав, что такое настоящая охота, за талоны на хлеб и крупу, полученные на приработке, он выменял старую берданку.

С ней и поедет к отцу.

Жильные струны

Музыкальная одарённость Казакова проявилась очень рано. Он называл это природными данными.

В его детстве Павел Гаврилович играл на старинной гитаре, с переборами, как-то несовременно, и напевал несколько загадочных песен, Бог знает откуда пришедших.

Юре было четыре года, когда в дом попала балалайка, и он тренькал на ней, сидя на сундуке в темноватом коридоре, умиляя соседей: “Что-то у меня получалось складное”.

Мать говорила, что ещё в детском саду удивлялись, какой Юрочка музыкальный: “Приведу его домой – в руки балалайку… Он радио слушает и мотивы подбирает. Залихватски «цыганочку» играл…” Казаков припоминал, как наигрывал “барыню”. Он действительно очень любил радио. Особо хлопотной (занимали деньги, с кем-то переписывались, выбирали) стала покупка для него патефона с пластинками народного хора имени Пятницкого.

Ему нравилась тогда эстрада: Утёсов, Дунаевский… На изменение его вкусов повлиял одноклассник Шура Чинаев, занимавшийся в музыкальной школе. Когда они шли по улице после уроков, приятель напевал ему что-нибудь из симфоний, из опер, из скрипичных и виолончельных концертов. По признанию Казакова, так постепенно до него доходила “вся прелесть, глубина и красота серьёзной музыки”.

Был 1942-й, когда он пришёл в музыкальную школу и стал совмещать учёбу с тяжёлым трудом. Утро после ночного налёта, аэростаты на улицах, а приятели идут на занятия и говорят о Бетховене… Сначала Казаков учился по тому же, что и Шура, классу виолончели, но быстро понял: виртуозом не стать, пальцы уже не такие гибкие, как у тех, кто помладше, и взялся за контрабас – тут мог рассчитывать на успех.

Громоздкий инструмент, за которым играют стоя, требующий усердия и умения, звучащий низко и сурово. Орудие джаза.

Одни и те же руки день за днём занимались грубой работой и музыкой.

Он любил упражнения для пианистов старых композиторов послебаховских времён, слушал этюды, предназначенные для развития техники, и наслаждаться ими готов был бесконечно.

А в редкое свободное время предпочитал скитаться с приятелями арбатскими дворами и переулками. В гости друг к другу не ходили, ведь все жили в коммуналках, где в комнате по несколько человек.

В конце 1942-го Павел Гаврилович писал с Севера: “Завтра буду стараться достать картофель, я от Юры получил два письма и фотокарточку, он что-то надувшись вроде. Чем недоволен? Но так мне очень понравился. Хороший парень… Только учится плохо”.

Много позже Юрий Павлович делился с приятелем[6]: “А вообще-то грустно, как начнёшь перебирать юность, не знаю, как у тебя, – у меня это самое печальное время. Хоть брось!”

Он и бросил.

Не доучился в школах. Купил аттестат на рынке в Мытищах – с его слов рассказывала Марина Литвинова. Сам же он в одной из анкет писал: “8 классов окончил в 1944 г. на курсах экстерната”. В справке с размытой печатью о “прослушанной программе” нет ни одной тройки.

Хотелось определиться с делом жизни, денег не было, а матушка отличалась прижимистостью.

Впрочем, и отзывчивостью. В квартире появилась сирота Лиля Демьянова. По справкам из жилуправления – племянница Устиньи. Но спустя несколько десятилетий та рассказывала, будто ехала в поезде, и на каком-то полустанке произошёл несчастный случай, погибли муж-

[6] Писателем Эдуардом Шимом.

чина и женщина (вышли что-то купить и попали под другой поезд), а в вагоне осталась их девочка, которую она и удочерила.

В 1944-м Юра поступил в техникум Наркомстроя.

Строителя из него не вышло. Хотя нравилось чертить геометрические фигуры.

В декабре 1944-го "за самовольный уход с лекции и пропуски учебных занятий" ему объявили выговор и назначили "три наряда на хозработы". В феврале 1945-го "за плохую успеваемость и выявившуюся полную неспособность к продолжению обучения" Казаков был не допущен к экзаменам, исключён из техникума и направлен в распоряжение райвоенкомата.

Под конец войны Государственный комитет обороны объявил призыв некоторых категорий молодых людей 1927 года рождения. Мальчишки шли следом за фронтом, были сапёрами и связистами, но и участвовали в боях, получали ранения, погибали. "Старик, учись", – посоветовал сердобольный военком. Казаков восстановился в техникуме.

Оказавшись в Германии через двадцать лет, он брёл мимо могил молодых солдат, умерших уже после победы, и представлял, как всё-таки попал бы в последний призыв, воевал бы и простился с жизнью в конце мая где-нибудь "в госпитале, в великих мучениях".

Мать заболела. Судя по всему, это была душевная болезнь. Она перестала работать и стала инвалидом 2-й группы, справки о чём выдавал "нервно-психиатрический диспансер Киевского района". Опять нужно было совмещать учёбу и работу.

Юру окончательно выгнали из техникума.

Он поступил в типографию при зоопарке – упаковщиком в бумагорезальный цех. Зоопарк издавал печатную продукцию (например, в 1946-м вышла книжка "Медведь", в финале которой герой приручал лесного медвежонка[7]). В дневнике Казаков вспоминал, как опьянялся запахами бумаги и клея среди тяжеловесных машин.

Родители рассчитывали, что он выберет надёжную денежную профессию, станет инженером или врачом, но в первом послевоенном году он вернулся к музыке. Поступил в училище имени Гнесиных на улице Воровского[8]. На его заявлении от 3 июля 1946 года стоит подпись основательницы и директора Елены Фабиановны Гнесиной, которой было уже за семьдесят. Она отнеслась к нему тепло.

Поступая, Казаков указал зарплату отца – 800 рублей, по тем временам – весьма неплохое жалованье. Или преувеличил, подтверждая, что сможет платить за обучение (в 1940–1956 годах после средней школы оно было платным).

Казаков попал в класс профессора Владимира Хоменко, талантливого контрабасиста и педагога. Наставник был строг, но приветлив, старался понять учеников, а белорусский акцент добавлял его голосу мягкую задушевность.

Юра занимался музыкой упорно, все дни напролёт, по шесть-восемь часов. Такой волевой натиск расположил к нему учителя, который при этом подметил в его характере противоречие. Казаков был самолюбив и, когда что-то получалось, краснел от удовольствия, радовался как дитя, однако легко погружался в отчаяние и уныние, замыкался и замолкал. "Чувствовал себя не в своей тарелке", – выразился Хоменко.

Ученик быстро понял: есть пианисты, скрипачи, виолончелисты, которые могут выбиться в знаменитости, и есть все остальные, чья участь – стараться попасть в оркестр, а с возрастом получить преподавательскую работу. Если б пораньше взяться за скрипку… Например, как скрипач Виктор Пикайзен, обучавшийся с пяти лет. В школе его освободили от общеобразовательных предметов, потому что он занимался по четырнадцать часов в сутки. Терял сознание, шла носом кровь, но с юных лет начались первые премии и золотые медали… Впоследствии

---

[7] Автор – Георгий Скребицкий (1903–1964), написавший несколько произведений о медведях и медвежатах. Не отсюда ли казаковский "Тэдди"?

[8] Ныне Поварская. Улица как линия его судьбы – там ЦДЛ, место постоянных встреч, и Дом Ростовых, особняк Союза писателей СССР.

Казаков размышлял: если бы его родители были обеспеченными интеллигентными людьми, заметив его музыкальные способности, они немедленно купили бы ему рояль, наняли бы учителя. “Если б я стал играть с детства, с пяти лет на рояле, то кто знает, кем бы я был”.

Когда Хоменко спросил его: “Почему ты выбрал контрабас?” – Казаков честно объяснил, что причина в пальцах, а потом блеснул неожиданной эрудицией, так что учитель даже записал за ним: “В эпоху Возрождения знаменитый Веронезе изобразил великого Тициана, играющего на контрабасе”. “Ему есть что сказать”, – пометил в дневнике профессор.

Он изводил дом нескончаемым нудением контрабаса. Все терпели: парень учится… Но то и дело, бросив играть, принимался слушать: из окон четвёртого этажа их дома разносились звуки рояля и женское пение. Поначалу он не знал, кто эти соседи.

Обладательницу сопрано звали Нина Дорлиак, на тот момент она жила в арбатской квартире своей матери, профессора Московской консерватории. Аккомпанировал ей муж, Святослав Рихтер, один из главных пианистов века. Война лишила его родителей: отца убили в Одессе перед отступлением советских войск, мать ушла с немцами, и он долгое время считал её погибшей.

В 1961-м, когда Казаков приехал в Тарусу к Константину Паустовскому и они отправились к реке на рыбалку, их обогнала серая американская машина, как оказалось, принадлежавшая Рихтеру. Паустовский рассказал впечатлившее Казакова: прежде чем здесь поселиться и начать возводить дом-башню, Рихтер привёз рояль в избушку бакенщика: “Так и жил – рояль и больше ничего…” Дивные звуки летели над рекой, как когда-то над арбатским двором.

Уже незадолго до смерти Казаков задумает рассказ о пианисте и станет изучать во всех подробностях, как устроена жизнь… разумеется, Рихтера. Того, кто таинственно присутствовал рядом, – намёк на возможность другой биографии.

Казаков признавался Хоменко в мечте стать знаменитым певцом. “Говорят, у меня прекрасный бас”. Или дирижёром. А может быть, композитором.

И всё же тогда, в послевоенной юности, он понимал, что всего важнее техника игры, и её оттачивал – готовился зарабатывать. Чем лучше играешь, тем выше тебе цена. И ничего страшного, “если ты можешь издать на трубе серебристый звук неимоверной чистоты и мощи и не читал Толстого”.

Но, в отличие от многих своих соучеников, он обсуждал книги с наставником и царапал какие-то истории в тетрадях. Так хотелось. Однажды признался: “Нет-нет да и проскользнёт грешная мысль стать поэтом или писателем…”

Ещё осенью 1946-го, только поступив в Гнесинку, девятнадцатилетний Казаков написал маленькую “Поэму о контрабасисте”.

Когда-то был он молод,
Надежды полон, сил,
Невзгоды, дождь и холод
Легко переносил.

Прилежно занимался,
Уроки посещал,
С размахом жить собрался
И – музыкантом стал.

Устроиться ему случилось
В оркестр небольшой.
Уж как ему служилось?
Играл как заводной!

Пришла пора жениться —
Женился наш герой,
На свадьбе в лоск напился
Во славу “молодой”.

Шли годы чередою незаметной,
Контрабасист старел…
Как прежде был он бедным,
Таков и наш удел!

Но вот настало время:
Сыграв прилежно номер,
Контрабасист однажды
Пришёл домой и – помер…

Печально контрабас
Один в углу стоит…
И, пылью покрываясь,
Изредка гудит.

Никто теперь не встанет
С ним рядом, бок о бо́к,
По жильным струнам старым
Смычком не проведёт…

Между прочим, предсказание одиночества инструмента. Он уже стал знаменитым писателем и давно не играл, а в его комнате на Арбате за шкафом всё стоял контрабас – спутник юности.

Его сыну достанется смычок.

Чудо осечки

Писатель, которого первым полюбил Казаков. Нетрудно предположить причины этого интереса к охотнику, воспевателю природы. Как было не сделать шаг к нему от библиотечных книг про силки на куропаток…

Михаил Пришвин.

“Он выше людей, – записал Казаков, – и немного напоминает мне этакого бога-берендея, с доброй усмешкой глядящего на свой народ”. Но выше человека оказывался и весь бессловесный мир: “Читать его – наслаждение, почти равное наслаждению живой природой”.

А следующим признанием молодой контрабасист, пожалуй, и вступил в литературу: “Очень хочется написать что-нибудь хорошее о природе, но не знаю, как взяться за это дело. Попробую в лесу внимательнее наблюдать и потом записывать”.

Через недолгое время он, пока нигде не публиковавшийся, забавно сообщил дневнику: “Природа и рассказы о ней – старая моя страстишка”.

Казакова впечатлили пришвинские записки “За волшебным колобком” (1908) – о путешествии на Север. Туда тянуло вслед за подневольным отцом – и за писателем, который пустился в странствия по собственному хотению. Воспринять суровое пространство не как наказание, а как праздник. Тогда же затеплилась мысль однажды посостязаться с Пришвиным в северных путях и наблюдениях.

Он мог бы даже познакомиться со стариком (Пришвин умер в начале 1954-го) и жалел, что этого не случилось. Позднее он пошлёт его вдове Валерии Дмитриевне посвящённый ему рассказ “Арктур – гончий пёс” и наведается в гости в их дом в деревню Дунино.

Казаков был одержим Пришвиным на протяжении, как подсчитывал, лет восьми, выискивая каждую его страницу. В конце концов он пришёл к выводу, что тот “загубил свой талант”: хорошо писал только от первого лица об увиденном, а вещи “на выдуманный сюжет” искусственны. Это был и урок самопознания: у него тоже по-настоящему получалось рассказывать о том, что прошёл. Он, конечно, не читал смелых и тайных записей Михаила Михайловича, осознававшего: “За каждую строчку моего дневника – 10 лет расстрела”, – но чувствовал силу его свободолюбия. “Горьким прикрывался всю жизнь, а сам не любил его, – рассуждал Казаков в одном из писем[9]. – Что за манера во всех переизданиях в свои книги вставлять слова Горького о нём (да и слова фальшивые, между нами: великий сын земли и проч. слащавости). Нет, старик был себе на уме! А с другой стороны, в нём хватало самостоятельности и честности, чтобы не стать лакировщиком тогда, когда таковыми были почти все”.

“Возвращение к себе первоначальному”, – романтично называл свои путешествия Пришвин. Для Казакова это было буквально так: в 1947-м он поехал сначала на землю предков, потом к отцу.

Он впервые очутился в Смоленской области, на земле, изувеченной войной, в деревне матери: пепелища и руины, люди, выживающие в землянках, холмики братских могил… Тот самый Сычёвский район, где революция и война не оставили камня на камне от имения князя Мещерского.

Мысленно он видел старинную деревушку, солому на крышах, свою маму, маленькую девочку в армячке, с курчавившимися по вискам волосиками. Она бежала по лужам, подгоняя хворостинкой гусей, и босые ноги её были в цыпках.

После двадцатилетний музыкант с той самой выменянной на карточки винтовкой прибыл к отцу в городок Лузу, недавно переданный из Архангельской области в Кировскую.

---

[9] Литератору Николаю Смирнову.

Серые избы, хлеб с мякиной, идущий по пашне босой, в портках мужик, бросающий зерно из короба, как встарь, – никаких тракторов…

Там Казаков влюбился в библиотекаршу и, чтобы доказать ей, что не “фу-фу”, взял у неё Канта и Белинского. Это пожалуйста – при всей нищете. Однажды он захватил с собой на охоту старый том “неистового Виссариона”. Убив трёх чирков, поздно пришёл в деревню, устроился в избу на ночлег и упросил хозяйку ощипать и отварить птичек. Утром, разбуженный на чердаке солнцем, понял, что проспал охоту, на которую надо выходить затемно, и решил поваляться в сене и отдохнуть. Закурил, открыл Белинского – и увлёкся! На чердаке было гнездо ласточек, летавших через окошко под гомон птенцов, но охотник читал, не обращая на них внимания. Так зачитался, что очнулся в полдень и спустился к хозяйке, которая накормила его нежнейшим чирком, протомившимся всю ночь в русской печке. “Мы утей не едим”, – сказала она с вятским выговором. Он окунал горбушку хлеба в душистую жижу, пил молоко из крынки и ощущал двойное блаженство – от пиршества и от книги, продолжая читать за едой. Тогда он толком не знал писателей и произведений, подвергнутых Белинским разбору, но захватила и передалась сама страсть автора к литературе. “Писатели были для него как формула для математика. Он их доказывал!” – тогдашнее впечатление Казакова.

Библиотекаршу звали Александрой Овчинниковой, чьи депрессивные вирши “в бытие своё в прекрасной стране Лузании” он переписал в тетрадь:

Умереть… забыться сном беспечности…
Умереть, уснуть, уснуть, уснуть, уснуть…
Раствориться безвозвратно в вечности…
Маленькой молекулой мелькнуть…

Там же, на реке Лузе, произошёл ужасный случай. Юрий вдвоём с местным увязавшимся за ним пареньком гонял уток, пуляя из ружья. Были очень голодны, в лесу объедались брусникой… Набрели на заброшенное маленькое поле с турнепсом – кормовой репой, выдрали по паре увесистых штуковин и решили очистить их ножом и съесть в стогу сена, окружённом изгородью от лосей. Паренёк подлезал под изгородь первым, а Казаков, как он говорил, машинально нажал на спусковой крючок. Сам себя не понял. Раздался громкий щелчок, охотник открыл затвор, увидел жёлто-золотистый патрон: чудо, осечка. Иначе – выстрел в упор, которым он раздробил бы таз товарищу и не смог бы спасти и дотащить – находились за двенадцать километров от посёлка. Полился холодный пот, гулко заколотилось сердце… Чуть не стал убийцей.

В начале 1949-го он снова был в Лузе. Обзавёлся не только ружьём и лыжами, но и – дабы ловить картины природы – фотоаппаратом, который придавал ему солидность. Как-то их с отцом остановил парень и долго толковал о несправедливости к нему начальства. Выяснилось, он принял младшего Казакова за представителя ЦК комсомола. “Думали сёмга, а ин свинка”, – и здесь припомнился Пришвин.

В другой раз их с отцом обогнала симпатичная девушка и всё оглядывалась. “Возможно, я показался ей смешным в очках и с аппаратом, который болтался на животе”, – решил Юрий. Он искал девичьего общества и через пару дней отправился на танцы в рабочий клуб. Аккордеонист играл плохо, но никто не обращал внимания на музыку, танцевали кто фокстрот, кто танго, а кто и вальс. Одеты все были разнообразно: валенки и туфли, телогрейки и цветастые платья…

Вновь отца он навестил в августе. Приехал и через год, летом 1950-го. И в то же время писал про девушку с длинными ресницами, ласково её попрекая: “Ты ведёшь странный образ жизни”. Ночью она танцует с “безлицым”, а тот, нагнувшись, впивается длинным поцелуем. “В тебе назревает страшное томление… Ещё миг, и ты со стоном отдаёшься новому поцелую”.

Холодный хват, криво усмехнувшись, удаляется сквозь зеленоватый рассвет, а повествователь “томится желанием” утешить обманутую, уставшую, с губами, “припухшими от поцелуев”. Разносторонний любовный треугольник…

Покидая Лузу, он записал в дневнике: “Никогда ещё не испытывал такой тоски… С грустью думаю о превратности судеб человеческих”.

В 1951-м Юрий вместе с матерью уже в Солге, в Архангельской области, куда переместился Павел Гаврилович. Маленький железнодорожный посёлок, близ которого в те годы возводился домостроительный комбинат. Очередное глухое место, где единственная достопримечательность, сохранившаяся до нашего времени, – вантовый мост через реку Вель. Эта металлическая разборная конструкция привезена из покорённой Германии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.